

НИНА ЯГОДИНЦЕВА

## ОПЫТ ПАССИОНАРНОСТИ

Горький практический опыт последних десятилетий показывает, как хрупка историческая и культурная память, как быстро и искренне молодые поколения усваивают чужое и чуждое, и просто что придётся. Работая со студентами, я всё чаще слышу от них о “социалистическом соревновании крепостных крестьян”, о “системе физических наказаний в советской школе”... И даже при том, что День Победы всё-таки остаётся общим праздником, слово “Танкоград”, например, уже почти ничего не говорит молодому поколению земляков-челябинцев. Да и как говорить, если на месте цехов ЧТЗ вырастают павильоны продукции зарубежного автопрома... Это не трагично – это опасно для жизни, каждой отдельной и совокупной народной.

Разрушения огромны, однако необратимыми их называть нельзя. Но человек должен представлять себе историческое, глобальное время, в том числе и в масштабе взлётов и падений цивилизаций и культур. Он может видеть, как разрушается и утрачивается многовековой опыт, как трудно и кроваво рождается новый, как, совершая невероятные сверхусилия, восстают из праха, казалось бы, уже обречённые народы, и как почти мгновенно исчезают с исторической арены внешне благополучные. Зрелище глобальных изменений даёт возможность понять, **что** лично каждый, пылинка в мегаисторическом масштабе, должен сегодня, сейчас положить на весы Истории, чтобы чаша его народа и его культуры оставалась полновесной. Результатом подобного понимания и является реальный смысл каждой жизни.

Все народы так или иначе проходят разные периоды своего исторического бытия. То качество, которое Лев Гумилёв обозначает как пассионарность, естественно может накапливаться, реализовываться, угасать... Но сегодня необходимо говорить ещё и об искусственном подавлении пассионарности, целенаправленном внедрении в сознание народа разрушительных мифов: о деградации и вымирании, истощении генофонда, невозможности обжить свои собственные географические пространства... Эти мифы, обеспеченные всей мощью СМИ, вполне способны подавить естественный пассионарный порыв, а в сочетании с политико-экономическими методами становятся почти идеальным оружием массового уничтожения.

Что сегодня может противостоять целенаправленному разрушению русской пассионарности и собственно культуры? Сохранение и изучение колоссального опыта освоения пространства, в том числе и включения в состав империи племён и народов, уже обживших эти земли. Этому посвящена активная издательская деятельность Общественного благотворительного фонда “Возрождение Тобольска”, и в особой степени – его новый проект “Библиотека альманаха “Тобольск и вся Сибирь”. Задумана и реализуется системная работа по сохранению уникального культурного наследия Сибири. Создатели

Библиотеки означили максимальный масштаб осмысления русского пассионарного опыта: “Библиотека... – проект, посвященный великой исторической эпопее освоения и преобразования гигантского региона Евразийского континента, простирающегося от Уральских гор до берегов Тихого океана (и Русской Америки), от Северного Ледовитого океана до монгольских степей и Китая...” Первые четыре книги, уже увидевшие свет, намечают магистральные смысловые оси проекта. Условно их можно обозначить как “человек в окружающей его природе” и “природа в человеке”. Обе проблемы относятся к разряду вечных, они тесно взаимосвязаны, а в условиях грабительно-потребительских отношений в обществе ещё долго будут оставаться остроактуальными.

\* \* \*

Открывается Библиотека “Избранными произведениями” выдающегося исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. Географ-первооткрыватель, давший имена безымянным доселе хребтам, перевалам, рекам и озёрам Сихотэ-Алиня, в своих описаниях путешествий воплощает образ человека на перепутье природы и цивилизации. Ценность естественнонаучных исследований Арсеньева очевидна и сегодня, но ещё острее требует осмысления их экологическая составляющая – в широком, вневременном понимании. Речь идёт далеко не о “сохранении окружающей среды” – сама по себе эта устоявшаяся формула поверхностна и просто вредна, – а о деятельности человека как о геологическом факторе развития планеты, и, следовательно, о его глобальной ответственности. Это созвучно становящимся всё более актуальными размышлениям Вернадского, но Арсеньев подкрепляет свои мысли и эмоциональным переживанием, описанием мощи и красоты первозданной природы – и картинами губительных последствий хищничества.

Автор предисловия В. Гуминский касается широкого спектра тем, связанных с деятельностью Арсеньева. Прежде всего это общий философский контекст эпохи: разрушение европоцентризма в “пересечении дорог Запада и Востока, Севера и Юга, Европы, Азии и Америки” и развитие “народной утопической мысли и поэтического образа вольной и благодатной земли на краю света”, влекущее в неизведанные края. Подробно описан жизненный путь Арсеньева, формирование его личности. При чтении убеждаешься, что в истоке философии анимизма – очеловечивания природного мира – Арсеньева лежит поэтическое восприятие, которое проступает сквозь суховатые естественнонаучные записи. Арсеньев рисует путевые картины живыми образами: “Внутри палатки горел огонь, и от этого она походила на большой фонарь, в котором зажгли свечу...”, или: “...на противоположном берегу, как исполинские часовые, стояли могучие кедры. Они глядели сурово, точно им была известна какая-то тайна, которую во что бы то ни стало надо скрыть от людей...”

Три составляющие наследия Арсеньева – естественнонаучная, философская и поэтическая – неразделимы, но первична, на наш взгляд, именно поэтическая. Глубокое поэтическое чувство позволяет воспринимать эмоциональную жизнь природы не как фантазийную вольность, а как реальность, данную в ощущениях. И с этого со-чувствия начинается истинное взаимопонимание человеческого и природного. Для центрального героя книги, “природного” человека Дерсу Узала такое взаимопонимание более чем естественно. Для него всё – будь то люди, звери или атмосферные явления, – это одухотворённые существа, то есть те, кто действует сознательно и целенаправленно.

В определённой мере образ Дерсу воплотил в себе человеческий идеал Арсеньева и философски разрешил тревогу автора за судьбу края. Именно Дерсу несёт в себе природную нравственность как высшую целесообразность, позволяющую выживать в суровых условиях тайги и естественных катаклизмах. Но попав в “цивилизованный” мир, он погибает трагически нелепо – его убивают из-за каких-то жалких грошей...

В этом герое, его философии и поступках, как в зеркале, отразился сам автор – тоже по сути человек “природный”, хотя внешне принадлежащий цивилизации. Это проявляется прежде всего в отношении путешественника к своему отряду. Например, кратко рассказывая об одном из участников экспедиции, человеке рассеянном и неприспособленном, Арсеньев приводит одну-две комические детали, и тут же спохватывается и укоряет себя: ведь это

он набирал экспедицию, он совершил ошибку — а человек теперь мучается... Как ни велик соблазн сделать из этого бедолаги комический персонаж для “развлечения” читателя, у Арсеньева главным остаётся чувство собственной ответственности и совести.

В “Избранные произведения” В. К. Арсеньева вошли его знаменитые книги путешествий “По Уссурийскому краю”, “Дерсу Узала”, “В горах Сихотэ-Алиня”, “Сквозь тайгу” и ряд писем. Исследовательский, первооткрывательский пафос уже практически “выветрился” из человека нашего потребительского времени, но Арсеньев, безусловно, способен разжечь жажду путешествий, желание ощутить себя в природной стихии — если у читателя хоть однажды уже был такой опыт...

Мы, современники Чернобыля и Фукусимы, можем оценить степень философской и нравственной правоты исследователя уже с позиций нового века, иного уровня технологии. Одной человеческой ошибки или одного естественного природного явления — сильного подземного толчка — вполне достаточно для того, чтобы наступили необратимые последствия глобального масштаба. Но даже эти катаклизмы едва ли остановят поступательное движение прогресса — куда, до какой роковой черты?

\* \* \*

Продолжают тему отношений человека и природы произведения Бориса Василевского. У рассказчика Василевского есть то гармоническое поэтическое свойство, которое роднит его с Арсеньевым — он воспринимает природу проникновенно-глубоко, как одухотворённый и осмысленный мир, хотя в этом восприятии уже чувствуется некая отстранённость. Его книга “Заря космической эры, или Русская Атлантида” находится словно на другом полюсе осмысления отношений человека и природы, подводит своеобразный итог пассионарного порыва, опыта освоения, очеловечивания природных пространств. Это опыт однажды едва не позволил рассказчику пожелать, чтобы человек вообще исчез с лица земли, и осталась только природа, которую “*homo sapiens*” измучил своим хищничеством.

В финале рассказа “Для дерева есть надежда” Василевский пишет: “Мы знаем, что всё изменяется, и мы изменяемся тоже — до тех пор, пока не поедим на старое место, а там-то и окажется, что всё изменяется гораздо быстрее, чем мы...” Пассионарный порыв для него остаётся в прошлом, в молодости, и всё повествование носит ретроспективно-медитативный характер. Собственно, “Заря космической эры...” — это цикл повествований, организованных не в хронологическом порядке, а, как объясняет сам автор, “по сюжету внутреннему, сообразно с движением и развитием мысли... В той последовательности, с какой возникает потребность написать сначала именно этот, а потом уже другой рассказ, тоже, наверное, есть свой смысл”. И образы магистральных героев — Вадима и Маркаряна — раскрываются постепенно, логически несколько сумбурно, но зато точно психологически — так проступает на фотобумаге снимок: расплывчатые пятна (эмоции), силуэты в пространстве (сквозное действие), символически чёткие черты и детали (философская основа).

Во вступлении “от автора” Василевский говорит о сегодняшнем состоянии литературы в целом: “время создателей “галереи бессмертных образов”, по моему, прошло — теперь мы пишем, чтобы разрешить для себя вопрос, уяснить мысль”. И тем не менее, два героя, в осмыслении противопоставленные друг другу, весьма типичны для описываемого времени 50–60-х годов: Вадим — “возвышенный, ни в чём не виноватый, но оскорблённый в лучших чувствах”, и Маркарян — “сам оскорбивший, надругавшийся над собой и своей любовью”, явные противоположности, но одновременно — и две ипостаси самого рассказчика, его “двойное зеркало”. Автор намеренно не пишет “литературные типы”, он оставляет человеческие образы родственными в стихии реальной жизни, где ни один сюжет не подлежит прямому логическому завершению, но все они — элементы вечно разгадываемого Высшего замысла.

Замечательно объёмно, нелинейно “рифмуются” с противопоставленными друг другу героями два образа очеловеченной природы — стройки Братской ГЭС и Братского моря. И они соседствуют в книге как части Высшего за-

мысла, но по авторской воле сначала перед читателем появляется рукотворное море: "...и ещё не заросли, и поразили меня дороги, подходившие к нему, но не так, как подходят они к морю, бывшему прежде дорог, — подходят, и останавливаются, и идут вдоль, — а здесь они, бывшие прежде моря, прямо устремлялись в него, бросались с разбегу и вели в глубину...", и уже потом — воспоминание о самом начале вдохновлявшей стройки: "Вдоль берега к котловану вела длинная насыпная дорога, по которой двигались три или четыре самосвала. Первый уже въезжал на перемышку, последний только показался вдаль, из-за поворота. Два громадных двадцатипятитонных "МАЗа" медленно ходили по перемышке взад-вперёд, укатывали ссыпaeмый грунт. В разных местах котлована виднелось несколько человеческих фигурок. Вверху, на скале, ковырялся одинокий экскаватор... Настоящая жизнь представлялась теперь неинтересной, даже убогой в сравнении с этой жизнью..." И герой был счастлив потому, что застал "самое-самое"...

Проза Василевского многогранна, её эмоциональный спектр полон прихотливых переходов, а при всей "населённости" произведений центральным всегда остаётся рассказчик, его воспоминания и переживания. Погружение читателя в текст происходит постепенно — некоторая первоначальная отстранённость быстро сменяется доверием и интересом, а в финале — живым сочувствием... Рассказчик постепенно превращается в собеседника, повествование изнутри "подсвечивается" лиризмом — тем русским пронзительным ощущением жизни, которое соединяет природу внутри и вне человека в единое неделимое целое.

В итоге рассказчик понимает, что, переделывая природу, мы одновременно переделываем и самих себя и получаем в итоге то, что сотворили. Но увидеть это можно только через время. А оценить по-настоящему — может быть, для этого нужно, чтобы прошла эпоха? Так, Василевский говорит об открытиях Семёна Дежнева: "Как иные люди, весь век свой незаметно трудясь, не помышляя вовсе о вопросах великих и вечных, а занимаясь делами обычными, повседневными, оказываются к концу дней словно напоенными истинной мудростью и высоким пониманием жизни, так и всякие настоящие дела отдельных людей сами собой, без сопровождающих патетических восклицаний претворяются в духовный опыт всего человечества..."

Опыт советской цивилизации, на взлёте которой рассказчик переживает главные события своей жизни, ещё требует осмысления и оценки, он ещё не получил завершения внутреннего, личностного, хотя времени у нас остаётся всё меньше. Василевский не делает выводов — он проживает годы заново и воскрешает чувства, из которых, кажется, вот-вот должна родиться примиряющая мысль о некоей общей мере свободы и принуждения, любви и отречённости, воли и судьбы.

\* \* \*

Следующая книга серии — избранные произведения Сергея Маркова — и стихами, и прозой погружает нас в природные стихии, бушующие в человеке. Необычайная эмоциональная и образная плотность текстов Маркова представляет собой совершенно особую художественную фактуру, резко отличающуюся от вышеназванных книг "Библиотеки альманаха "Тобольск и вся Сибирь". Раскалённое время, раскалённые страсти, раскалённые слова... Пассионарность неизбежно двулика, и первая её ипостась — стихия, вырвавшаяся за пределы, поставленные культурой, идейный фанатизм, братоубийственные страсти... Над этой стихией писатель поднимается на высоту гуманизма, и в предисловии Сергей Куняев закономерно проводит параллель с молодым современником Маркова Михаилом Шолоховым, с его восприятием революционных событий. Другая ипостась той же пассионарности — это порыв в новые земли, к открытиям и загадкам, и здесь Марков-философ предстаёт перед нами как "уникальный прозаик, собиратель и хранитель географических одиссей, исторических загадок..."

Потрясения века и загадки истории достались Маркову полной мерой. Событийная плотность жизни сформировала удивительно плотный слог — и в поэзии, и в прозе за каждым словом встаёт ощущение материальной реальности в её кристаллическом состоянии:

*Неба от снега не отличаем,  
Топчем льдов горячий излом,  
Бредя зелёным монгольским чаем,  
Пухлой кошмой и чужим теплом.*

...  
*Мёрзлые юрты не знают мести,  
Буря за дверью — взятый уступ.  
Здесь мы оставим на кружечной жести  
Тонкую кожу спалённых губ...*  
(“Зелёный чай”)

Одними эпитетами, которые обычно всегда выдают и “подставляют” поэта, Марков превращает быт в священнодействие:

*Бухарская еврейка продаёт  
На улице окаменевший мёд, —  
В хрустальной чаше огненная мгла,  
В ней опочила синяя пчела...*  
(“Пчела”)

И ключом к плотной, концентрированной прозе Маркова тоже можно взять строки поэтические: “Чужая жизнь — безжалостней моей — // Зовёт меня...” (“Памяти Чокана Валиханова”).

В книгу помимо стихов вошли романы “Рыжий Будда”, посвящённый событиям Гражданской войны, и “Юконский ворон” — о путешествии бывшего морского офицера Лаврентия Загоскина по Юкону. Этот роман — в магистральном русле библиотеки, он — о наследии русских исследователей-землепроходцев, в частности — о Русской Америке, утрата которой до сих пор оборачивается для России болевыми проблемами, вплоть до безопасности государства. Кстати, Сергей Куняев обращает внимание на различие отношений европейцев и русских к аборигенам Америки и приводит в подтверждение факты из исследования Маркова: “Тойоны побережья Росса Ам-ат-тин и Го-лем-ле уверяли русских в дружбе и выражали довольство тем, что они были защищены от нападения враждебных племён. В то же время потомки Писарро и миссии Сан-Франциско жили в непримиримой борьбе с индейцами”... Даже в одном этом факте — очевидная разница цивилизаций и культур России и Запада...

В “Избранные произведения” тобольской Библиотеки частью вошла и знаменитая книга Маркова “Земной круг”: короткие повести и исторические эссе о землепроходцах разных народов, о международных связях в глубокой древности и средневековье. Повествование относится к жанру научно-художественных (прямая переключка с Арсеньевым), а по глубине и широте исторического взгляда его можно назвать поистине грандиозным, наполненным смелыми научными догадками, доказательными авторскими версиями известных исторических событий. Поэт, прозаик, историк, географ, этнограф — Сергей Марков представляет из себя личность поистине энциклопедического склада. Гармоничная слитность его естественнонаучного и литературно-художественного талантов наполняет историю поэзией, а поэзию — почти материальной силой мысли и чувства. “Избранные произведения” Маркова со всей страстью подкрепляют издательскую концепцию Библиотеки, её пассионарный пафос.

\* \* \*

Четвёртый из вышедших томов — стихотворения, поэмы и письма Евгения Лукича Милькеева, изданные к его 195-летию со дня рождения, а также статьи современников о нём. Рассказ о творчестве и трагической судьбе самородного сибирского таланта продолжает ту философскую линию библиотеки, которая исследует природу в человеке. Способность к поэзии, как ни к какому, может быть, из иных видов искусства, доказывает, сколь важно совпадение природного дарования и общей культуры личности. Культура здесь становится проводником природы, она даёт естественным стихиям сугубо чело-

веческий дар – Слово, речь. Но чтобы это произошло, нужен целый ряд совпадений, которые можно называть судьбой. Иначе, как говорится, возможны варианты: либо поэтический дар несёт в себе разрушительное начало (и это в русской поэзии мы можем наблюдать воочию в последней четверти XX века), либо культурная среда отвергает и в конечном итоге губит природное дарование.

Автор предисловия Александр Стрижев рассказывает о судьбе провинциального таланта с живым сочувствием и уже в самом начале ставит вопрос: перед нами несостоявшийся поэт или – недооцененный, непрочитанный, незаслуженно забытый? Конечно, разгадку предстоит искать самому читателю – в стихах и письмах книги, и только такой ответ может быть убедительным. 30 лет жизни, отпущенные Милькееву, – не так уж мало, особенно в ту эпоху (вспомним, сколько было отпущено времени Пушкину и Лермонтову), но обстоятельства жизни складываются так, что талант его развивается в отсутствии культурной среды. И вот случай, подручный судьбы: при посещении Тобольска великим князем и наследником Александром Николаевичем записные тобольские стихотворцы наперебой воспевают царственную особу, но Жуковский замечает именно Милькеева и желает познакомиться с ним поближе. . .

А дальше восторги, приглашения в столицу, мечты поэта о высоких целях. . . Но “самородный алмаз” требует огранки, а бедность, служба, необходимость обеспечивать мать жёстко диктуют Милькееву свои условия. “Если не заблуждаюсь, природа наделила меня привязанностью к звукам, но между тем назначила родиться и жить в такой сфере, где ничто не могло способствовать своевременному пробуждению и образованию этого инстинкта, где более всего раздаётся безмолвие для души, где менее всего слышится музыка слова. . .” (из письма Милькеева к Василию Андреевичу Жуковскому).

Поэт оказался вне тех социальных ниш, которые так или иначе дают человеку возможность посвятить творчеству большую часть сил. Остро ощущая своё достоинство, поэтическое и человеческое (и в этом видится пушкинская черта характера – понимание смысла своего дара!), он вынужден примиряться с изнурительным для души трудом, с неизбывной нищетой, с пренебрежением знатных господ. . . Но роковую роль сыграло отношение к поэту культурной элиты: открытие, возвышение, ожидания – и, по сути, забвение. Об этом покаянно написала потом Каролина Павлова, поначалу принявшая живое участие в судьбе провинциального таланта:

*Глядит эта тень, поднимаясь с земли,  
Глазами в глаза мне уныло.  
Призвали его из родной мы земли,  
Но долго заняться мы им не могли,  
Нам некогда было.*

*Вносились от сердца его полноты  
Напевы, как дым из кадила;  
Мы песни хвалили; но с юной мечты  
Снять узы недуга и гнёт нищеты  
Нам некогда было.*

Вдобавок в идейной борьбе литературных лагерей Милькеев оказался игрушкой, разменной монетой: одни возносили его как надежду русской поэзии, другие (а в их числе Сенковский и Белинский) просто отказывали в таланте. Всё закончилось самоубийством и забвением поэта. Стихотворение “Участь”, завершающее поэтическую часть книги, показывает, насколько отчётливо понимал Милькеев своё положение, всю его трагическую безнадежность:

*Дышал человек благодатной свободой,  
На родине милой он счастливо жил;  
Но мстительный рок прошумел непогодой  
И радость того человека убил.*

*И грустным изгнанником ныне он бродит  
Под сводом далёким, у чуждой реки...*

*Наружно ещё на собратий походит,  
Но сердце истлело в горниле тоски.*

Как ни мало тогда способствовала развитию его дарования культурная среда провинциального Тобольска, решение поэта о переезде в столицу стало роковым. И в этом видится далёкая, но отчётливая переключка судьбы Милькеева с судьбой арсеньевского героя Дерсу Узала. . .

\* \* \*

Пятый, недавно увидевший свет том Библиотеки – повесть “Живи и помни” Валентина Распутина, произведение знаковое, которое, может быть, в наши трагические для России годы перечитывается с особым, мучительным вниманием, ибо речь идёт о природе предательства. Причём предателем становится честный, сильный, мужественный человек, лишь на какое-то короткое мгновение позволивший себе слабость. И его гибельный поступок тянет за собой целую цепь смертей.

В родниковой распутинской прозе кристальна чистота мысли и слога, соединены сквозным созвучием со-бытия, символическую значимость обретают бытовые, казалось бы, ситуации. И, читая, понимаешь, что ведь и сама реальность соткана из таких же плотных переплетений, предупреждений, знаков, и нужно уметь читать свою собственную повесть жизни при свете памяти и совести. . .

Прочитав “Живи и помни” ещё буквально двадцать лет назад, можно было хоть как-то попытаться если не оправдать, но хотя бы понять Андрея Гуськова: воевал честно, был ранен, не дали отпуска – и в надорванной душе его появился страх смерти, с которым возвратиться под пули он уже не смог. . . Сегодня проступает иная ясность. Перечитывая книгу, до замирания сердца понимаешь, каким предупреждением была она всем нам, как до самой глубины увидел Распутин душу человека, как проследил путь от мгновенной роковой слабости к неминуемой роковой гибели. . .

Странная, если вдуматься, судьба у русской литературы – а, может быть, у литературы вообще? – обладая способностью предвидения, провидения, она не в силах предотвратить неизбежное, и только оглянувшись назад, понимаешь, насколько точно увидел писатель во дне вчерашнем или сегодняшнем то, что неизбежно сбудется завтра.

Так обоюдный вещей сон, в котором Настёна приходила к Андрею на войне, говоря: “Я там с ребятишками замучилась, а тебе и горя мало”, не даёт ответа на её вопрошающую мольбу – то ли потому, что уже ничего нельзя изменить, то ли потому, что человек в главные моменты своей жизни действительно свободен в выборе. А может быть, лучше не заглядывать в будущее, не гадать о нём, и по тому, как ты живёшь сегодня, Бог определит твой завтрашний день? . .

Андрей Гуськов с момента той роковой слабости, толкнувшей его в поезд, идущий на восток, шаг за шагом, поступок за поступком губит свою душу и в то же время со странным напряжённым любопытством – где предел, и есть ли он вообще? – следит за этой гибелью изнутри, испытывая моментами ужас, а иногда и необъяснимое мрачное наслаждение. Вовлечённая в предательство Настёна несёт свой крест верности и совести до конца, до того момента, когда он становится неподъёмным, непосильным. Смерть её и гибель долгожданного ребёнка, их будущего, перечёркивает все наивные надежды Андрея на какое-то высшее оправдание своего предательства. Как утопающий за соломинку, хватается он за эту свою мысль, не желая понимать, какой тяжестью обременяет ещё не рождённое будущее.

И вся повесть воспринимается сегодня как грозная метафора большого общего предательства – предательства своей страны, истории, культуры, собственного будущего. Ведь и большое предательство в роковых девяностых совершилось, стало возможным в принципе, может быть, по причине того же надрыва, какой-то душевной усталости, слабости перед соблазном – и абсолютной, метафизической невозможности “вернуться домой” прежде завершения исторического пути. . .

Чем больше вчитываешься в распутинскую прозу заново, тем отчётливее понимаешь: и те, кто по душевной слабости совершил этот страшный грех, и те, кто помимо воли оказался в него вовлечён, составляют единое целое, и никакое будущее не способно оправдать уже случившегося предательства. Ведь будущего просто может не быть: Бог даёт его по тому, как проживаем мы сегодня.

Распутин завершает повесть по-крестьянски немногословно: “Только на четвёртый день прибило Настёну к берегу недалеко от Карды. <...> За Настёной отправили Мишку-батрака. Он и доставил Настёну обратно в лодке, а доставив, по-хозяйски вознамерился похоронить её на кладбище утопленников. Бабы не дали. И предали Настёну земле среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди. После похорон собрались бабы у Надьки на немудрёные поминки и всплакнули: жалко было Настёну”.

Сколько раз повторяет писатель имя героини, не отпускает его, завершая этим именем всю повесть, и долго оно ещё звучит в мыслях, когда книга уже закрыта. Был ли у неё выбор? Двадцать лет назад казалось – был, сегодня отчётливо и беспощадно понимаешь: не было. И не могло быть. Уже преданная и обречённая, она вместе с Андреем словно заново проживает все счастливые моменты, все бесхитростные радости прошлой их жизни, ибо в настоящей остаются только ложь и страх.

И, понимая Настёнину обречённость умом, не смеешь впускать её в сердце, закрываешь от себя про-виденное, потому что растут дети, хочется жить и верить, что ради них будем прощены, оправдаемся неведомым будущим за преданное настоящее...

\* \* \*

Конечно, в кратком обзоре можно только обозначить основные черты замысла создателей Библиотеки. Но отметим и стиль её оформления, разработанный В. Валериусом, и высокую полиграфическую культуру. Разнообразен иллюстративный ряд: от карт, от подлинных старых и современных фотографий до репродукций картин – всё работает на создание особой атмосферы каждой книги. А впереди у читателей встречи с выдающимися памятниками устного народного творчества коренных жителей Сибири, историческими песнями о походе Ермака, “отписками” казаков-землепроходцев, классическими описаниями Сибири, Камчатки, Чукотки, Дальнего Востока, принадлежащими замечательным русским ученым и путешественникам. Среди авторов Библиотеки великие русские и зарубежные писатели, крупные государственные деятели, знаменитые флотоводцы и мореплаватели.

В 2012 году Тобольску исполняется 425 лет. Деятельность Общественного благотворительного фонда возрождения Тобольска, культурного форпоста Сибири, продолжается уже 18 лет. В одном из обращений его председатель А. Г. Елфимов пишет: “В подлинном национальном самосознании главным компонентом является чувство исторической преемственности, острое сопереживание сопричастности не только и не столько конкретному этапу или режиму в жизни своего народа, но всей многовековой истории Отечества, его будущему за пределами собственного жизненного пути... Что мы демонстрируем миру сегодня? Полюса богатства и бедности, жадности и расточительности, полётов ума и беспросветной глупости, упорствующей в своих заблуждениях. Неестественную приверженность к чужой культуре и граничащее с безумием отвержение всего родного. Нам надо сделать шаг назад, чтобы осознать себя теми, кем мы являемся генетически, а затем сделать два шага вперёд, в наше прекрасное будущее, неразрывно связанное с традицией прошлых веков”. В этом контексте слово “Библиотека” должно писать с заглавной буквы.

Челябинск